

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
С Е Д Ъ М А Я

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

ПАНТ. РОМАНОВ
Л. НИКУЛИН.
СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ.
Ж. ЖИРОДУ.

СТИХИ:

И. ДОРОНИН.
И. САДОФЬЕВ.
Н. ТИХОНОВ.
В. КАЗИН.
М. СВЕТЛОВ.
С. МАЛАШКИН.
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

В. ПОЛОНСКИЙ.
А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.
Ф. НЬЮМЭН.
С. БУТОСЛАВСКИЙ.
А. ЯКОВЛЕВ.
Н. ВЕЛИКОВ.
АДАЛИС.
И. ЗВАВИЧ.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 6

Скала погасла. Заскрипела арба, старик поплелся за ней в туманы, в горы,—к себе в аул.

Снизу из ущелий, вместе с туманами, неслись еще, клубились и рвались в ветре ущелий мятежные звуки.

Но гасли уже одна за другой, как остывающие угли, верхушки гор и покрывались пеплом сумрака...

Скрипела где-то еще наверху арба, но ни ее, ни старика уже не было видно.

5. ЧАЙ-ХАНА ЯКУБА УМЕДОВА

(Из туркеставских впечатлений)

Адалис

Мы остановились в чай-хане на кишинском базаре, против развалин Биби-Ханым. Вечером хозяин чай-ханы играет на дюторе и поет про все, что с ним случилось за день. Таков обычай.

В особенно удачных местах кружок гостей прерывает повесть гортанным воплем, и поощренный поэт мало-помалу начинает привирать.

В конце концов бедные приключения чай-ханщика вплетаются в огромный клубок перекати-преданий о завоевателе Искандере. Вот как поет Якуб:

1. «Я продал сегодня сорок чайников чая и тридцать одну лепешку. Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

2. «Я зарабатываю мало, а ем много; я бедный человек и плохой торговец,—Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

3. «Я поссорился со своим компаньоном, и он уезжает к себе в деревню—в старый кишлак на Зеравшане. Я не буду очень жалеть об этом».

4. «У меня остановился мулла из Оренбурга,—уважаемый и ученый. Он съел много плова и много мяса; он выпил много зеленого чая и выстирал в аршке рубаху».

5. «Муллы не платят обыкновенно; но этот дал мне довольно денег. Он сказал: «приходится жить иначе; новые люди умнее старых».—Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

6. «Четверо русских постояльцев просили муллу рассказать легенду; он рассказал им очень любезно о Сулеймане, внуке Тимура».

7. «Русские спросили: «это правда?»—и мулла ответил: «наполовину;—надо видеть собственными глазами, чтоб

знать, где правда, а где неправда. Темный народ должен учиться».—Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим!»

8. «Русские кричали: «браво, браво, умный мулла из Оренбурга! Но разве ты видел своего Аллаха? Почему же ты все повторяешь.—Бисмалля,—ир-рахман, ир-рахим?»

9. «В это время ко мне вошел фининспектор, и мулла был рад, что избег ответа. А, впрочем быть может, я просто не помню, что он ответил; я испугался».

10. «Фининспектор спросил о моих доходах, я хотел соврать, но сказал правду, потому что вчера мой сосед сапожник, ничего не боясь, сказал правду. А чем я хуже своего соседа? Чем я хуже своего соседа?!»

11. «Ой, налоги, налоги, налоги! Ой, налоги! Ой, налоги! Скоро я буду ходить нищим! Мама будет ходить нищей! Соседи будут кричать—нищий!»

12. «Но за правду я получил награду; я нашел в аршке мешочек с двадцатью пятью золотыми. Я отправился в гости к Адб-Джеллалу—он живет на Серебряном базаре».

13. «По дороге я ел урюк и вишни, миндаль, фисташки и желтый сахар и вдруг увидел на Регистане страшное множество народа».

14. «Посреди толпы красовался всадник на белом коне и в цветной одежде. Дети бросали ему розы, женщины спорили и толкались, приподнимали с лица сетки, чтоб лучше видеть его губы, и продавцы ему подавали полные тарелочки рагаджану».

15. «Тут я сразу узнал Искандера, завоевателя полумира. Он покорил города и страны—Ташкент, Самарканд,

Андижан и Скобелев; Хиву, Бухару и Коканд, и Скобелев, и кишлак Тайлак, откуда я родом».

16. «Он достал уйму денег и мануфактуры, шелковичной грены и сушеных фруктов, и все это он подарил щедро союзу кошчи Узбекистана».

17. «Я крикнул: «да здравствует завоеватель!». И конь Искандера тряхнул гривой, тут Искандер натянул поводья и повернул ко мне, улыбаясь, черный глаз под высокой бровью».

18. «Здравствуй, товарищ Якуб Умедов!—сказал он на зависть всему народу:—Ты будешь со мной пировать весь вечер, и я достану тебе в жены девушку с розовыми щеками. Есть у меня друзья и братья—значит, я тебя познакомлю».

19. «Что тут было! Ой, что тут было! Целую ночь я кутил с ними! Девушку с розовыми щеками я взял 24 раза! Я ее брал и так и этак! Целых 24 раза! Это ни с кем не может случиться—только со мной по моим заслугам!»

Гортанные вопли гостей Якуба переходят в шутиливый вой. Якуб еще долго щиплет дютор и поет, закатив кроткие карие глаза; нежное лицо с распухшими по-детски губами кажется свирепым от вдохновения.

Якуб не лучший певец и поэт в своем квартале,—больше его славится Джеллал.

На черном в рыжих узорах фоне лазурный щит; на щите темнокрасный чайник и скверного цвета листья—очень бледные; все заключено в коричнево-синюю раму. Это—вывеска.

Если когда-нибудь, о, путник, ты будешь отдыхать на кишмишном базаре против развалин Биби-Ханым, спроси о вывеске, нарисованной нами за долги.

Вывеску так и не повесили над чайханой: осталась стоять на одной из нар, под голубым насестом.

Чай-хана в сущности принадлежит караван-сарая, а караван-сарай—старому баю Курбану. Старый бай Курбан перебил его на торгах, об'явленных комхозом, у двенадцати молодых баев. Двенадцать молодых баев обжаловали в исполкоме постановление ком-

хоза. Старый бай обжаловал в комхозе постановление исполкома. Сыновья старого бая уже третий день строчат «арзу», мудрую, слезную, витиеватую, адресованную царю Соломону—доброму Ахун Бабаеву, председателю ЦИК'а УзССР.

Друзья и родственники караван-сарая заседают кучками на широком дворе. Якуб мрачен по мере сил:

— Сволочь! Чей виновата? Старый бай виновата! Двенадцать молодой бай виновата! Она богатый. Чай-хана бедный, моя бедный. Богатый бай дерутся—моя отвечай!

Меня впутали в библейскую волокиту. Каждый полдень я провожаю в комхоз плачущего старого бая; а комхоз на базаре, за Регистаном, в самой толчее. Шелковые халаты скрипят друг о дружку, падают с ног и уносятся течением туфли, мягко и деликатно пробивают себе путь ишаки.

Против входа в комхоз стоит продавец рагаджана—тертого льда с медовым бекмесом. На столике чудесная белая глыба, прикрытая грязной тряпкой; продавец соскабливает медной лопаточкой на медную тарелочку снег, поливает его бекмесом и дробно-дробно утрамбовывает шесть раз. Этот звонкий и мелкий, хлюпающий по талому снегу медный топот—профессиональная песенка рагаджана. И забыть ее нельзя.

В комхозе прохладно. Свинцовый, мануфактурного запаха человек сам подходит к старому баю:

— Ничего нельзя сделать. Мы виноваты. Комхоз виноват. Ничего не поделаешь, отдавайте караван-сарай.

Старый бай садится на приступочку в сенях. Он будет сидеть так до конца занятий, широко расставив пухлые ноги, громко вздыхая и вертя в пальцах большую белую розу. О слезной «арзе» к Ахун Бабаеву он забыл.

Вечером, на паласе, под тутовым деревом, Якуб Умедов поет о кознях комхоза, закатив голубиные глаза на крестом лице.

Дзынь!—дютор летит на землю.

— Мать его... Сволочь, богатый бай! Бедный человек всегда виноват. Все пропадай. Мой пошла к моя мама в

гости плов кушал! Айда! Товарищи! Пошла к моя мама в гости! Ой, мама дорогой!

Он накидывает на одно плечо розовый ситцевый халат. За ухом пучок укропа и роза.

Когда вечереет в Самарканде, арыки начинают журчать полным голосом, и слышно, как тутовые ягоды падают с кляклым стуком на крытый паласом помост! В этой тишине маленький Ибот опрокидывает чайник и пиалу. Но Якуб не слышит; пока мы одеваемся, он кормит певчую перепелку и бранится именем Аллаха, вперемежку с русской матерщиной.

Славный Афросиаб—Самаркандский Акрополь,—дикая насыпь, заросшая золотой с проседью щетиной, ухабистое городское кладбище с шакалами. Афросиаб усеян верблюжьими костями, разбитыми глиняными кувшинами, осколками расписной утвари от тимуровых до наших дней (на севере—помойная яма; на востоке—раскопки профессора Вяткина). Афросиаб велик.

Перепрыгивая через разрытые могилы, мы идем на уровне чудесных куполов Шах-Зинда; потом тропинка сворачивает к реке Сиабу и теряется в черных кустах. Под стенами Афросиаба река идет тяжело и мирно; в стенах вырублены пещеры, где спасаются иступленные «диваны»; я знаю одного из них, огромного афганца, с буйной, иссиня черной бородой, оглушительно-властным голосом и сильными пальцами в бирюзовых кольцах: он похож скорее на предводителя романтических разбойников, чем на «святого». Ах, да, впрочем!—Он из шайки басмачей...

Над Сиабом, в жиденьком фруктовом саду, живет мать Якуба, которая угостит нас пловом. В саду у Якуба растут чахлые, незреющие абрикосы, мелкие вишни и полинь, а внизу, над рекой,—вольный ничей сад: здесь валается под ногами сладкий урюк, гнилой, как мясо; здесь черешни в сливу величиной и розы—очень много роз,—и соловьи над розой—гафизовы со-

ловьи: все, как полагается! В саду у Якуба поют лягушки. Это тоже хорошо.

Посреди сада на полянке разостлана кошма, уставленная пиалами с кишмишной водкой—«муссаласом»; на кошме сидят восемь сапожников—родственников Якуба и совладельцев сада. Гостю—почет. Пиала с муссаласом, обходя круг, возвращается к новичку столько раз, сколько старых гостей в кругу. Потом ведут купаться: мужчину—на мужской половине воды, женщину—на женской. И пляшут перед иностранцем, если весело; древний танец,—смешную и наивную имитацию однополой любви, процветающей и сейчас среди праздных и богатых. А у бедняков есть юмор,—и танец хорош.

После купанья плов и разговоры, Восемь сапожников совсем не понимают русского языка: они могут только угощать и благожелательно смеяться. И, когда хочешь, чтобы они восторженно заливались, хлопая изо всей силы рукой по пыльной кошме, говоришь понятное им слово «товарищ», вместо мусульманского «ака»—брат.

На женской половине мать Якуба и соседские дети. У сартянок мягкие важные движения, очень покатые плечи и тонкие лица. Сартянки не играют на лютне, не дарят талисманов, не кушают в плечо, не делают почти ничего, принятого в поэмах. У них суровая старость, рваные ботинки—ичиги,—жесткая зима с колючим снегом, муж, дети и черный очаг для варки плова... Грязноватые ногти крашены хной, пальцы заскоружили от домашней работы.

Мать Якуба показала мне свое рукоделье для мужского пояса: по дешевому бархату вышивка неприятного красного цвета. В рабочей корзиночке ржавые длинные ножницы, как у всех бедных бабушек—русских, польских, еврейских.

Сартянки не дарят талисманов, и, честное слово, они скоро сбросят с лица свою черную, конского волоса, сетку!

Уже совсем темно, когда мы возвращаемся, взявшись за руки и распевая «Мама-джан». Афросиаб велик.

На низком туркестанском небе перебиваются белые звезды, степные травы пахнут морем и перцем. Мимо нас, ша-

рахаясь и плача, пробежал шакал с поджатым хвостом и головой на бок— жест, перенятый у знакомых гиен. Якуб погнался за ним, потом сел на камень и принялся за обычное:

— Моя не виноват; моя бедный человек. Богатый бай дерется—моя отвечаю. Богатый бай хуже шугал. Поросята.

— Что?

— Поросята: на шея сидит, шея сосет. Голова чесать. Воша. Когда одна человек много от другой взять, сам ничего не делать, она воша.

— Эй, Якуб! А маленький Ибот? Он на тебя работает, что ты ему даешь?

— Ничего не даешь. Ибот должна. Я купила Ибот.

Звезды переливаются на низком небе.—Туркестан. Здесь есть рабы, как в древней Греции. Они не дарят талисманов, не играют на лютне, не подпиливают гвоздем железных решеток; но между бровями у них вытатуирована, по старой памяти, синяя звездочка. Покупать их можно только внутри страны, в затерянных кишлаках,—лучше всего у бедных родителей. Теперь это сложнее.

Мы продолжаем путь молча.—Афроу-сиаб велик. Вот медленно восходит на юге прекрасный силуэт развалин Биби-Ханым в черных облаках карагачей. Через полчаса—дома. И всякий раз, когда дикая падучая звезда стремительно рассекает небо, Якуб вскрикивает: «ой, мой чай-хана!», а все мы пьяно торопимся пропеть:

Ой, я тебе, мама-джан,
Люблю уважаю!
Через тебе мама-джан.
В Тошкент уезжаю!

Я боюсь землетрясения и сплю под открытым небом; а днем совсем тяжело дышать. Желтое песчаное небо пересыпается низко над головой и кажется много тяжелее этого бледного лесса—призрачной почвы Туркестана. Вода резко пахнет плесенью; собаки грызутся по пустыкам. Есть в Самарканде городская железная дорога и конечная станция ее—у чай-ханы Якуба. Три

раза в ночь «кукушка» приходит с вокзала, дико громыхая, дребезжа и крича. Чай-ханщики просыпаются, поднимают на палках бамбуковые навесы, припускают огня в висящих керосиновых лампах и ждут барыша. Самовар кипит всю ночь.

Чай-хана Якуба кончается. Сам он пьяный в доску спит, сбившись со своим компаньоном, дсбредушным рябым Мирхон-баем. Заслышав кукушку, они по привычке вскакивают, дико озираются, но валятся снова. А днем они тоже спят. Днем грохот кукушки меньше похож на подземный гул, и все-таки несомненно: землетрясение назначено на сегодня. Караван-сарай не принадлежит больше старому баю. На пустынном дворе поднимаются маленькие смерчи пыли и жалобно, выворачиваясь криком на изнанку, трубят ишаки. Впрочем, старый бай и сегодня сидит на приступочке в комхозе—может быть, поможет.

От жары мучительно пересохло в носу; я принимаю за первые подземные толчки удары пульса. С утра до шести пополудни мы томимся сегодня, полужелеза на паласе в одной из внутренних комнат. Сутулый, самолюбивый поэт разглядывает на свет свои руки; они сильно дрожат.

— Я не люблю стихийных бедствий,—говорит он.

Другой, партийный малый, с ясным лбом и широкими плечами, тяжело острит:

— Потому что не коммунист.

Тр-ах!..—это падает чайник. Коммунист конфузливо улыбается...

Стихийное бедствие начинается с огромного шороха и гортанного крика. Секунда затишья, и мы выбегаем на улицу под истошный треск. В пыли не видать даже контуров предметов. Еще секунда затишья,—и медленно обрушивается трехэтажный русский мат. Пыль рассеивается. Землетрясения нет и не будет.

Но чай-ханы Якуба Умедова тоже нет. Базарная детвора растаскивает последние доски помоста. Свистящая, клекочущая, каркающая, заливающаяся толпа не может удержать Мирхон-бая; он в крови и лохмотьях. И лохмотьями

висит бамбуковый навес над арыком. С крыши сыпятся камни. Страшное желтое небо клубится низко над развалинами. Еще раз гортанный вопль — и Мирхон подбегает к столбам, поддерживающим другой навес — над караван-сараем, — широкий и крепкий. Столбы не поддаются; тогда он взбирается по ним с непостижимой ловкостью и рвет навес зубами. В притихшей толпе три милиционера (свои, узбеки); они робко подталкивают друг друга вперед, потом уходят.

Якуб стоит в стороне, с мусульманской улыбкой покорности и презрения, прижимая к груди самовар; кредиторы Джеллал и Хабибулла уносят под мышкой свернутые ковры.

... — Мать твою...! — Мирхону не одолеть навесов; он скатывается по столбу и скрывается во дворе караван-сарая; через пару секунд кошащее лицо с обвисшими, как у китайского богдыхана на вазе, усами, оскалено с крыши.

— Р-раз!! Навес пополам. Р-рраз! Р-рраз!

Он повисает лохмотьями над арыком.

Низкое небо из песчаного становится бледно-голубым: стихийное бедствие кончилось. Мирхон-бай, свернув в старый халат пожитки, уходит пешком в свой далекий зеленый кишлак над

Зеравшаном. Черные пугала чай-хань торчат в ясной прожлуде; освобожденный от помоста арык журчит полным голосом, и негде сесть пить чай.

Мы толпимся внутри чай-хань. Якуб спокойно об'ясняет:

— Мирхон — дывана, Мирхон — злой дурак мужчин. Гаварил — зачем чай-хана выгонять? — совсем не надо хай-хана. Богатый человек — сволочь человек; старый бай — сволочь бай. Так ему надо. Нет чай-хана.

— А ты что будешь делать?

— Моя хочет быть сапожник. Папа сапожник, дядя сапожник. Моя сапоги делать, налог не платить, — рабочий союз. Моя очень хочет быть сапожник! Торговать не надо — торговать плохой дела. Правда, таварих?

Вдруг взгляд его падает на вывеску, прислоненную к стене (черный фон в рыжих узорах, голубой щит, темнокрасный чайник... ту самую).

— Ой! А вывеска на улица выбросить? Не-ет! Будет строить Якуб Умедов новый чай-хана, ремонт делать, ковер покупать, твой вывеска вешать, денег нет? Будет Якуб заработать новый денег. К чорту сапожник! Фу! Мой хочет чай-хана. Мой без денег открывать чай-хана! Торговать!

И он лихо ударяет по двум струнам джатора.

6. ЛОНДОН В ДНИ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ

(Письмо из Англии)

И. Звавич

Это тебе не Англия!
(Чехов)

I

Несмотря на то, что об'ективные причины неизбежно вели страну к неминуемому кризису, даже в последние дни апреля как-то не верилось, что компромисс между углекопами и углепромышленниками не будет найден. О всеобщей стачке нечего и говорить; самые проникательные в обычное время наблюдатели английской жизни еще 30 апреля, т. е. за 4 дня до начала стачки, готовы были утверждать, что ее не будет. А между тем 30 апреля Ге-

неральный Совет тред-юнионов уже отдал приказ о том, чтобы начать стачку в ночь с 3-го на 4-е мая, в случае, если об'явления о локауте в угольных шахтах не будут сняты.

У нас, иностранцев, которые связаны с Англией лишь несколькими месяцами или годами пребывания в стране, имеется какое-то подсознательное убеждение, какая-то необ'яснимая и иррациональная уверенность, что в Англии события движутся иначе, нежели в других странах. Подметив вблизи коренное и несомненное своеобразие английского характера, мы готовы пре-

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Ч Е Т В Е Р Т А Я

А П Р Е Л Ь

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 9

В этом году одновременность дождя и суховея погубила урожай. Ничего с полей не снял крестьянин. Оценка урожая—ноль пудов.

Таинственна страна Арзгир, где в сухой степи благодатный дождь становится величайшим бедствием.

Справедливость требует отметить, что суховея не является чем-то нераздельно принадлежащим одним лишь северо-кавказским степям. Губительное дыхание этих нисходящих ветров известно в юго-восточных сельскохозяйственных районах Австралии и еще больше в Соединенных Штатах Северной Америки. Здесь во всей области Великих Равнин—в Колорадо и в Техасе, и в Небраске, вплоть до Иллинойса и Уисконсина, случается, дуют летом суховеи, достигающие иногда силы урагана. Как и в степях Северного Кавказа, они поднимают температуру выше 40° в тени и выдувают всю влажность из воздуха, вызывая атмосферную засуху.

Американцы считают суховея «настоящим бичом сельского хозяйства» и борются с ними приемами «сухого земледелия» и введением в севооборот засухоустойчивых растений.

Бывают, однако, в Арзгире удивительные случаи. Суховея дует не слишком жарко и яростно. Юго-западный благодатный ветер во-время приносит дождь и проливает его на степь аккуратно в промежутках между суховеями. Тогда каштановая арзгирская почва принимается наवरстывать упущенное. Родит неудержимо. Говорят, прошлый год такой случай был: льняного семени арзгирцы сняли по сто двадцать пудов с десятины, вместо наших урожаев в двадцать пудов и самых больших северо-кавказских пудов на пятьдесят. Но такие удачи редки. Легче с арзгирской земли не снять ничего, чем получить такую премию.

Нельзя не обратить внимания на редкие названия некоторых здешних сел—Дивное, Урожайное. Почему эти скудные жестокие места отмечены такими названиями? По той же причине, по которой самый грозный в мире океан назван именем Тихого. Первые поселенцы случайно осели здесь в благоприятный год и сняли с девственной почвы первобытной степи неслыханные урожаи.

Крестьянское полеводство в Арзгире—это очень азартная игра.

6. ПО ТУРКМЕНИИ

Адалис

Когда в еженедельных журналах появляется под рубрикой «Туркменистан» фотография, изображающая женщину под чадрой или мечеть Биби-Ханым, — это клюква. В одном из номеров «Проектора» мне довелось видеть кадр из фильма «Под властью адата», демонстрирующий красавицу в муслиновом покрывале — кавказскую тюрчанку — и подписанный: «закрепощенная туркменская женщина».

Туркменистан лежит между Каспийским морем на западе и садами Узбекистана на востоке; между дремучим песком на севере, Афганистаном и Персией — на юге. Женщины в Туркмении ходили открытыми еще до раскрепощения; на головах они носят высоченные вишневыя клобуки.

Туркмения, главным образом, пустыня — бывшее морское дно. Бока песчаных волн покрыты продольными бороздами, как бока тощей клячи: человек привык видеть эти борозды на склонах морских волн; грудные клетки высохших морей валяются в песках со скелетами павших верблюдов.... Песок горяч, и на нем не растет ничего годного в пищу.

В Туркмении есть горы — на самой персидской границе хребет Копет-Даг — темно-синие и ненастные горы. На далеком фоне их, как в грозовую ночь, кажутся белокурыми ветви ашхабадских деревьев.

В Туркмении есть земля — во-первых, береговая полоса между океаном

песка и горами, во-вторых, острова в океане песка, по краям рек.

В Туркмении есть вода — кольчатый хвост ускользящей Аму-Дарьи, Атрек, Теджен и ленивая мурга — Мургаб; эта теплая вода, как известно, — жизнь туркменской земли, полузапекшаяся кровь ее; колоссальными усилиями люди отводят воду на свои поля, на хлопок, на дыни, на джугару, на плодовые деревья.

Туркмению населяют тюркские племена: текины, номуды, киргизы, берберы, белуджи и очень много других. Иногда племенем называется просто большой род, который когда-то населил другим родам, и стал, в обиду, кочевать обособленно; такой род носит имя, уходящее в самую глубь варварства; есть племя «собакоголовых»...

Быт полукочевой, скотоводческий; оседают там, где можно сеять, — на узких зеленых полосках у гор и рек; оседлые туркмены напоминают рыбаков на берегу океана: их связь с пустыней нерушима; в пустыне мотается их родня, пустыня заносит их посевы...

Одежда туркмена — темный халат, туго подпоясанный в талии, баранья папаха, выворотные сапоги или разризованные туфли с сильно загнутыми крючковатыми носками и кожаной бахромой. У женщин один рукав халата заброшен на голову, на высокий, всегда горячий от солнца клобук, расшитый монистами; клобук — только основа: он обмотан шальями из местного шелка, как котелок, в котором хотят сохранить варено теплым и пряным...

В Туркмении есть дети; революция в Туркмении — борьба детей с отцами за внуков. «Богатые старики хотят, чтобы все дети достались им и пустыне, бедные старики хотят спокойно умереть; но взрослые дети борются за маленьких детей!» — так сказал мне погонщик верблюдов.

Революция в Туркмении — прежде всего, революция в семье. Сплошь да рядом пастух — двоюродный брат хозяина, батрак — племянник, сын бедного брата: библейская ситуация.

По Туркменистану прошел «черно-злик» земельно-водной реформы; моральное значение его огромно; но

еще много раз придется не на бумаге, а на земле и воде менять реальные границы, ремонтировать участки, делать новые, красные отметки на глинистых полях.

Аул у предгорий

Аулы бывают оседлые и кочевые. Оседлый аул — глиняная туркменская деревня; кочевой аул — становище цвета пустыни, сизое сборище кизячного дыма и полукруглых кибиток.

Вот аул, где живут и в кибитках и в домах. Здесь кибитка часто бывает поставлена рядом с глиняным строением: она играет роль морального фактора или дачи. Такая «показательная» кибитка очень чиста, уютна, устлана и увешана внутри текинскими коврами, а снаружи отливает золотом, потому что кошмы снимаются с летней кибитки и обнажается ее каркас.

Настоящие, серьезные кибитки стали бурными от копоти и грязи; они расстрепаны, поломаны, в них живут семьи в три-четыре поколения, с агнятами и с'estными припасами; копыт десятков пылающих и едва тлеющих человеческих жизней, угар степного гостеприимства осели на круглых стенах. Из этих кибиток к нам навстречу высыпает толпы детей; от толп отделяются пяти-шестилетние мальчики, деликатно берут нас за рукава и приглашают, от имени родителей, каждый в свою кибитку. Но в городе нам было предписано — у аульных работников не угощаться, в кибитки не заходить: у всякого работника есть враг, и враг подаст заявление, что работник дал взятку.

Есть тут и просто дома, без кибиток: длинные глинобитные стены, длинная легкая перистая зелень садов, свирепые псы в узких тупиках, переулки без светотени, ярко-белое солнце, яркосиняя темнота... За домами, в предгорьях, мирные развалины древнейшей крепости; это халдейская крепость, ей около четырех тысяч лет. Огромная стена, скорей волнистая, чем зубчатая, сделана из слабого камня, давно разложившегося на глину и ласточек...

Аул лежит у предгорий Копет-Дага; тут полно воды, целая живая река. Поля джугары обнесены заборами, как

огороды. Поле джугары похоже на лес огородных пугал — огромные кривящиеся стебли, угловатые листья. Джугару свозят с полей сытые верблюды с мещански взбитыми на висках кудерками.

Хлопковые поля — глаз не охватит; коробочки уже лопнули, из них прут белые облачка ваты — ни одного участка, пораженного чором или какой другой болезнью. За хлопком — виноград; яркие листья сияют, точно освещенные изнутри.

На одном из этих виноградников недавно убили председельсовета.

Убийца, местный кулак, уже арестован, а брат убийцы, тоже находящийся под следствием, сидит на земляном порожке своей лавочки. Это лавочка европейского типа, с полками, с кухонными керосиновыми лампами; называется она «Красный текинский кооператив Махтума Палванова» и является собой предприятие товарищества кулаков. Здешние баи дошли своим умом до некоей степени американизма: «жалованье», которое они платят своим батракам и пастухам, «займы», которые они оказывают бедным дехканам, батраки и дехкане обязаны оставлять в «красном кооперативе Махтума Палванова».

— Э-э-э, товарищ! — приветствует меня с порога «старейший кооператор», — э-э, будь здоров! Приехал гости? Старый Махтум резит баран. Ты видишь перед себя жертва гражданской войны!

Он, действительно, жертва гражданской войны (!) и получает пособие по инвалидности. Интересно посмотреть, как он живет, но заходить к нему опять-таки нельзя, чтобы не поднять этим визитом махтумпалвановского престижа в глазах дехкан...

Нас водит по аулу кочевой фининспектор Халиль. Для него тоже зарезали нескольких баранов — кто из уважения, кто из корысти. Но ему-то уж наверняка есть дехканскую баранину зазорно, и он печалуетсь сквозь зубы на свою сиротскую участь. У Халиля ни кибитки, ни жены, а братья в Афганистане; он бывший красноармеец, живет в городе и ест в харчевнях. Инспекторские экспедиции он проводит с черст-

выми лепешками и «дорожным» сыром. Дорожный сыр — белые, соленые камешки, похожие на школьный мел, скатанные из овечьего молока, кукурузной муки и человеческого пота; их сосали столетия тому назад полчища Чингисхана, сосут сейчас нищие пастухи и будут сосать, я надеюсь, Махтумы Палвановы... Дорожная сумка фининспектора Халиля набита белыми камешками.

Вечером; — ах, какие вечера в предгорьях Копет-Дага, какие черные вечера с винно-красными звездами и долгим теплым ветром! — к реке приходят певцы. Они приходят для фининспектора Халиля и для нас, но, чтобы никто не сказал, что аул дает взятку музыкой, делают вид — гуляли, мол, пришли поседеть... Их двое, два сухих, негнущихся старика в бурачных халатах из сухого, негнущегося шелка. Они играют на бесконечно длинных дудках, сидя на черном коврике друг против друга, — то музыкой в музыку, дыханием в дыханье, то властно закинув узкие головы, то прынув друг к другу и скрестив дуды, как мечи. Оглушительный звук дуды жесток и великолепен, ее слова — война, победа, ночь... нет музыки диче и грознее текинской! Вокруг музыки толпа дехкан — батраков и хозяев; вдаль ржут кони, среди них кони певцов, и певцы скоро уходят, даже не поглядев на нас, отряхивая на ходу пыль с халатов... Это певец Акмурад и певец Овез; у первого зарезали сыновей басмачи, второй никому неизвестен...

Для ночлега случайный дехканин выносит нам к реке кошму; спать нельзя — сыплются звезды и раскаленные блохи, и, тыкаясь, как щенок, холодным носом, шляется по кошме от одного к другому наш единственный браунинг, завязанный в носовой платок фининспектора Халиля...

Аул, где живет Мустафа

Литература канонизировала некую форму миража в пустыне. Он стал штампом на горизонте, этот традиционный мираж — «made in Сахара»: вода, и над водой пальма, и под пальмой газель.

В расплавленных и прозрачных пустынях Туркмении существует оздоровленный, советизированный мираж: вода и над водой электростанция.

Но мираж — не призрак, а приближение реально существующей природы. Караван, если не «сбоит», дойдет до воды.

Вот особый вид аула, то, что в западной России называется «местечком».

В глинистом овраге завалилась толстая желтая речушка в метр шириной. Над речушкой — «машина», великое изобретение доисторического человека, одна из его первых побед: огромное колесо, окаймленное глиняными кувшинами; часть кувшинов разбита. С усталым, извечным скрипом колесо добывает для полей воду из речушки. Больше трети воды проливается из разбитых кувшинов (древний прашур был бесхозийственником). Колесо вертит костлявая, выжившая из ума лошадь; глаза у нее завязаны мокрой тряпкой, чтобы не кружилась голова и чтобы лошадь не увидела своего позора: пусть думает, что идет вперед!.. «Машина» скрипит ритмично, страшно, непрерывно, а рядом — школа, врач, агрономический пункт, детский дом, клуб, кооперативы... винные лавки. Женский кооператив, приютившийся в переулке, поближе к исполкому, забит истерзанными песчаной бурей потребительницами из далеких становищ: душистого мыла, одеколону, цветного ситца, суровых ниток, игл! В двух шагах от кооператива — детская консультация, в четырех — врачебный пункт, в десяти — школа ликбеза. Период строительства длится тут около двух лет; до этого шла истощающая борьба с басмачами. До революции аул входил в зону владений бухарского ханства, захватывавшего часть Туркмении; аулом и округом правил наместник. Развалины дворца — к югу от аула — окружены рассыпавшейся от дряхлости крепостной стеной; глинобитные зубцы выветрились, ворота выбиты, глубокие рвы завалены осыпью, и на дне их чернеет сырой лес — память весенних ливней и феодальных времен...

Между аулом и крепостью — переулочки большого базара. Базар торгует два-

жды в неделю; в остальные дни он необычайно чист и пустынен под своей плетеной кровлей, и на земле зыблются сетки солнечных лучей. Как раз напротив главной улицы аула, на холме — базарная арка, и, когда завидишь издали под этой аркой всадника, театрально приподнятого на фоне мрака бледной землей, он и его лошадь выглядят, как историческая личность...

Ночью над аулом виснет замечательная темнота, к которой никогда не привыкнет глаз; она душит, она сваливает в кучу вещи и понятия: глиняные строения, закон шариата, пыль, тоску, маленькие злые лавчонки местных баев, раскрепощение женщины, всадников с фонарями и свирепых пастушеских собак. Эта тьма кажется безысходной; ее не могут пробить два керосиновых огонька — один у женского кооператива (первое реальное дело раскрепощения), другой — у красной чайханы. Это черное безветрие, этот недвижный, густой воздух не входят в легкие; человек задыхается, он ищет заветной щели, калитки в мир, где есть еще кислород, где дыхание — не каторжный труд, а профессиональный навык организма.

Под керосиновым огоньком, на помосте, крытом драной овечьей шкурой, сидит учитель Мустафа. Рядом с ним лежит Сулиман, секретарь исполкома, страдающий бессонницей. Они молчат и громко, серьезно дышат. Сегодня слишком душно даже для жителей пустыни.

— Очень, очень тяжелый воздух! — грустно говорит Сулиман.

— Ничего, друг, — отвечает Мустафа. — Ничего, ханум! — обращается он ко мне. — Скоро здесь будет электростанция.

— Ты знаешь нашу кассу, — испуганно обрывает секретарь исполкома, — зачем обманываешь? Нам нельзя еще об этом думать.

— А я уже хочу начать думать! — Голос Мустафы дрожит от гнева. — Здесь будет электростанция.

— Эй, друг, брось, друг!.. Зачем я здесь — спросит электростанция: что мне освещать? Овечий помет или собачью случку? Или, может быть, сморть, как бай Берды бьет камчой же-

ну? Я хочу знать, зачем меня выстроили!

— Мы откроем детский дом! — кричит Мустафа. — Мы откроем больницу, кино, показательные поля, библиотеку, радио! Мы сделаем коллективные хозяйства, мы поставим ясли!

— Эй, друг, для электростанции что нужно? — вода нужна. А для полей что нужно? Чем освежаются, когда в кино сидят? Чем охлаждаются, когда книги читают? С чем лекарство пьют? В чем детское белье моют?

Мустафа ударяет по помосту папкой.

— Вода? Здесь будет вода! — и круто замолкает.

Сулиман уже лежит на животе, подперев щеки кулаками; где-то сбоку, в пустыне, проплывает нежный звон верблюжьих колоколов... пролетает, почти касаясь виска, мягкий конский топот. Наконец, секретарь исполкома резко обращается ко мне:

— Давай карандаш.

— Темно.

— А я вижу.

Он долго рисует на клочке оберточной бумаги, потом говорит:

— Мустафа, ты прав. Здесь будет вода, потому что я нарисовал ее. Аму-Дарья даст.

Но Мустафа заснул, развалившись на помосте. Он не мог уйти домой: по всей улице, по всей стране расставлены капканы для степных лисиц. Это большие семейные капканы, на целый выводок, и в них иногда попадают люди.

Дважды в неделю празднуется аульный базар, знаменитый на всю округу. Он промышляет предметами пустынного обихода, но гвоздь этих праздников — аму-дарьинский сом. Рыба разрезана на узкие мягкие полосы и жарится, плюясь в глаза, на бараньем сале, на огромном, немислимо чадном огне. Тут есть целые трущобы жареного сома — открытые кухни, под кровлей из саксаула, похожей на взбесившуюся папаху. Дикий дым ест глаза, на грязных кошмаках и циновках валяются подгорелые лепешки, течет по пальцам помидор, хохочут старые туркмены, идет в

круговую чугунная чаша с водой, и сом чудовищно вкусен.

Дважды в неделю Мустафа и Сулиман бессонный бродят, обнявшись, от лавки до лавки. Домотканная мата и конская упряжь, темный шелк, грубый, как древесная кора, и ковровые хурджумы, ножницы и шила, ножи и верблюды, глиняные амфоры и кооперативная парфюмерия «Новой Зари», корм для скота и московские ситцы...

За бурей пыли Мустафе брезжат ровные ряды товарных складов, широкая вода с электростанцией, парки машин и леса строительства — нагромождение технического счастья. Сулиман сегодня — противник земледелия. Он злобно глядит себе под ноги на рассыпавшийся горячий прах:

— Туркменской земле еще только учиться рожать, а туркменский ковер уже стал взрослый. Сам цветет. Знаешь наше будущее? — ковер и фабрики!

— А овцы? — с деланным смирением спрашивает Мустафа. — А овцы, друг?

Сулиман устало опускает тяжелые веки: «ах, да, овцы. Валла! миллионы овец... Страшно подумать, как богата Туркмения! И что ему с ними делать? как остричь их всех?!».

Когда мы сидим в гнезде из глины и саксаула, где мятутся смерчи бледного пламени, и пожираем жареного сома, Сулиман мрачно молчит. Его опущенные веки обведены киноварью бессонницы, худое лицо сурово.

— Ну, так как же овцы? — бестактно спрашиваю я.

Сулиман усмехается и говорит, не отвечая на вопрос:

— Наш народ не привык пить вино. Отец не пил, дед не пил, прадед не пил. Когда молодой туркмен пьет, — сразу падает пьяный, потому что кровь его не знает вина.

Он продолжает тише:

— Кочевой народ не привык думать о будущем. Если молодой туркмен думает, он больше не спит, его голова мучается. Я не сплю три месяца — ездил к доктору в Чарджуй, доктор не помогает. А я думаю днем и ночью и буду думать всю жизнь. Чем не думать — лучше умереть... Знаешь?

На большой воде

По берегу Аму-Дарьи раскинуты шатры. Пахнет смолой, дальним плаванием и дымом. С беспредельной сиреневой лужи тянет морским холодком. В шатрах таятся земляные очаги для варки пищи. У очагов постланы серые кошмы с узором свекловичного цвета и запахом дождливых картофельных полей (этот сырой кошменный запах — единственное, что напоминает землю в стране, где вместо земли раскаленный песок). На кошмах спят люди в позах героических мертвецов с батальных олеографий. В некоторых шатрах люди не спят; они сидят в кругу за обедом или беседой. На них огромные бараньи папахи — черные и рыжие, похожие на гнезда аистов, — словно мрачные легенды здешних мест свили себе приют на буйных головах. Это туркмены и каракалпаки из таинственной и автономной Кара-Калпакской области — хозяева канков дальнего плавания.

Канк — черное утреждение, грузоподъемностью в тридцать-сорок тонн, огромное, лоснящееся и сальное, как бегемот. Канк — допотопный ковчег: мачты кривы, оснастку заменяют отрпенья канатов, а к внутренней стороне «носа» прибито маленькое зеркальце, косо отражающее грозовую папаху и бронзовое лицо капитана. Канки перевозят не только хлопок и дыни, — они перевозят в болота и пустыни бывшего хивинского ханства советскую власть: машины и работников. В этих допотопных пирогах едут электростанции, трактора, автомобили!

На берегу великой дужи, именуемой Аму-Дарьей, грузно осели в ил сотни канков. Тут и канки-грузовики и канки легковые. Грузовики большей частью ходят под командой каракалпаков и туркмен; легковые — под волей уральских казаков, мужиков крутых и хитрых, чьи предки были сосланы «за веру» в туркменское пекло кулачить как сумеют в поистине мутной воде.

Вся часть чарджуйского берега — пристань уральских казаков, если не считать двух утлых калов госпароходства, знаменитых тем, что ходят впятеро дольше канков, во-первых, по при-

чине пьянства команды, во-вторых, по объективным условиям, в третьих, по отсутствию фарватера.

Уральские казаки не разбивают лагеря — они здешние. Им принадлежат эти короткие, чудесные улицы деревеньки, выводящей к реке, кукурузные частокоты, розовые мальвы, изумрудные и вонючие уксусные деревья, рассада светлякового цвета, косматые доисторические сорта проса и кукурузы, уходящие корнями куда-то к чорту, в песчаную лошадь Пржевальского...

В чистых сектантских садочках молча пьют чай дебелие бабы, белоглазые девушки-тихони лузгают у калиток подсолнухи. Все это принадлежит уральским казакам, а сами они сидят на бережку на пеньках-колодках, курят, изменяя «каторжной» вере, долгие самокрутки и тупо, без вкуса, отмеривают друг другу скучные, степенные сплетни про «убил, ограбил, поджег, изнасиловал»; сплетни эти исключительно об истлевших покойниках — отцах и дедах односельчан.

Седой, краснолицый уралец, завидев нас, трех пыльных человек с походными мешками, присоанивается и повышает голос:

— Да!.. Что и говорить — времена!

Мы усаживаемся поблизости, на перевернутой лодке.

Оба казака начинают разговаривать нарочито членораздельно и громко, как на открытой сцене; изредка старший скашивает, не утерпев, в нашу сторону красновато-коричневый птичий глаз. Держатся они на сцене хорошо, привычно, эти «благородные отцы», — а наивная пьеса разучена на ять.

— Жалко мне, Семен Тимофеевич, за проезд в Ургенч драть с людей тридцать рублей! Уж не дорого ли?

— Ясно, что дорого. Тридцать с божьей души — виданное ли дело? Разбой! Нам бы и красненькой за глаза хватило, да воля-то не наша!

Седой эффектно разводит руками:

— Уж это да! Против союза не пойдешь. А велит союз драть, чем больше. Главное велит, — кто попроще, с того и дери. С чего ж иначе налоги-т получать? Комиссарам-т нашим тоже есть-

пить нужно! Тоже люди, небось, дети у них.

Врет по-сектантски, елейно, истово...

— И выходит, мы, стало быть, живодеры, — вздыхает седой, — жили по чести, наживаться не умели, а стали на старости союз каичников.

— Каичников, — печально и просветленно повторяет партнер. — Каичники мы. Плаваем, а рыбки-т и не ловим. За каждую рыбку ведь налог плати — сначала заявленьице подай, что за рыба, где словлена, а потом и денежки выими, сто рублей. Божью тварь и то обложили — ай, яй, яй! Вот и ушла рыбка-т в сине море...

Он, я знаю, бывший рыбопромышленник, другой, помоложе, бывший арбузник. Они хозяева каиков. У первого по аму-дарьинским рукам до разбойного острова Муйнака сновали за рыбой в старые времена нищие полудикие рыбаки, у второго на бахчах и посейчас батрачат за харчи и туркмены, и персы, и кара-калпаки...

Рыбопромышленник неожиданно поворачивается к нам лицом; оно выражает страстную симпатию:

— Агитировать приехали? — спрашивает старик хриплым, заговорщицким шопотом. — Дальние?

Арбузник испуганно хватается его за колено:

— Что ты, Потап Павлыч, что ты! Разве нам, старикам, скажутся? Им молодежь нужна... Вы, товарищи, не стесняйтесь!

— Уж, пожалуйста! — подхватывает рыбопромышленник. — Будьте как дома. Молодежь — это мы мигом устроим. У меня только, простите старика, сынов нету и у него нет. А про чужих сынов сейчас разведаем...

И, не дав нам опомниться, орет в деревеньку:

— Ка-ть-ка!

Катька, белоглазая, с черной косой, с темными ресницами на линии нижних век, прямой и влажной, как черта горизонта, подходит, подпирая скрещенными руками пышную грудь.

— Катюшка! — лениво приказывает отец, — вот товарищи интересуются за молодых мужчин. Покажи, дочка!

Девушка поджимает губы и краснеет платнами гнева:

— У нас, товарищи, славь-те боже, молодых мужчин нету, не держим!

И уходит, возмущенно подрагивая бедрами.

Старик снова разводит руками — этим эффектным и выразительно-простым жестом ветеранов Малого театра.

— Вот. Вот какая молодежь пошла: нету ее вовсе! Не родятся сыны у мужиков! Семя не то. Уж боялся, не поверите мне, — дочку позвал. А где еще были сыны, тех в Красную армию угнали. И будьте как дома.

А казацкие парни в семейной ссылке. Они спрятаны от переписи и от Красной армии. Они ползают и путаются в глинистых рукавах Аму-Дарьи, опущенных в Аральское море, — там, где рыбные промысла, дичь и живность. Молодые уральцы редко приезжают на побывку в Чарджуй: их зона между Туркулем и Ходжейли. Молодых уральцев... сослали отцы, дяди и деды подальше от активной советской власти. Старики боялись комсомола, а еще пуще газет. В низовьях Аму можно воспитываться по-старому, по-уральски: там советская власть уже вышла из боевого периода, но еще не вошла в трудовой; там суматоха, пьянство, малярия и охвостья басмачьих банд. В рыбных поселках низовий живут матерые уральские казаки старинных фамилий; они принимают на полный пансион «подпорченную» молодежь, берутся «выправить» и «выправляют».

Как пишется в стенгазетах: «Куда смотрел чарджуйский комсомол?» — он не знал об этом. Узнал случайно, вчера, от нас, приезжих с другого конца СССР, и сказал:

— Товарищи! Да что же это?!

Главный базар

Как с балконов и плоских кровель тысяча и одной ночи, он виден во все концы с утлой терраски мервского горисполкома... По понедельникам и четвергам в тумане золотой пыли, в песке жестоких ветров торгует главный базар Туркмении.

Непокрытым табором он раскинулся на краю пустыни — вот бесплодная пло-

щадь для продажного скота, косматые кони, угрюмое, синее солнце в желтых небесах; вот вокруг бродячих музыкантов густая темно-пестрая толпа, и пара медных труб, поднятых над этой толпой, похожа на рога улитки...

Это не бухарский базар. Здесь нет в помине прогнивших навесов над головой, лиловой сырости под ногами, потной и горящей тесноты. Там, в Старой Бухаре, люди занимаются торговлей, как развратом, — они кипят в коридорах переулков, в тупиках, стиснутых зловоньем, на мусорных свалках и на задворках кладбищ... **Текинский базар** весь на ладони пустыни, — с трех сторон желтый простор, с четвертой — сизый город; люди движутся на полном свету, и вещи смело открывают свои изъяны: шелковая ткань — грубые узелки и трещины, домотканый шелк — ошибки станка, скот — раны и ссадины, хлеб — запеченных в песке жуков. На текинском базаре товар продают изнанкой.

— Мой кувшин — простой земля, мой сосед кувшин — хороший кувшин!

— Эта сыр — старое молоко от старого барапа. Хочешь — бери...

Продавец спокоен, — все будет продано в свое время: и шелк с узелками, и домотканый холст, и хлеб, и кувшин; Туркменистан велик и голоден: у кого есть мука, тот ходит необутым, у кого есть пояс, тот обязан купить к поясу халат.

По понедельникам и четвергам, на рассвете, в город вступают призрачные караваны верблюдов; у дверей чай-чи старого афганца Дада Мамедова спешиваются путники из Кушки и Тахта-базара; туркмены в огромных, как грезовая туча, папахах, истощенные опием берберы в шароварах из белого нансука и маркизетовых чалмах; широкие скрытые киргизы втаскивают на душные нары тугие тюки хурджумов, кошем и бараньего сыря — весь свернутый текинский базар. Ведь базар этот — ярмарка в пустыне; большинство продавцов и покупателей — приезжие дехкане; только в мануфактурном, обувном и посудном рядах торгуют несколько оседлых лавок, принадлежащих настоящим

купцам: узбекам, персам и бухарским евреям...

По понедельникам и четвергам в полдень наступает величайшая радость здешних мест: шлаться по базару. По обеим сторонам пути тянутся оглушительные, как джазбанд, харчевни и лавки, похожие на земляные очаги. Это не почтенные лавки Узбекистана с голубыми ставнями и прохладцей — это дикарские гнезда первобытной торговли, крытые хворостом, — Абиссиния, Тимбукту, Мозамбик...

Дальше, перед площадью домашнего скота — площадь домашнего европейского скарба: дряхлые кресла с выпотрошенными брюхами, хромы столы, зачумленные кровати. И рядом с этим барахлом красуется работа молодых туркменских кустарей, — новая, без истории и традиций отрасль кочевого производства: это мелкая цветная мебель — столик, ларь, табуретка, разделанные безродным орнаментом, не имеющим корней ни в старинном узоре ковра, ни в рисунке шелка...

Центр базара занят развлечениями; сюда тянутся огромные толпы молодых туркмен, здесь задерживаются наезжие афганцы, киргизские мальчики несут сюда гроши, вырученные за камешки консервированного сыра, более необходимого кочевнику, чем хлеб. Здесь останавливаются в обалдении текинские певцы и рассказчики анекдотов. Посреди тесного круга помещается магнит базарного дня: три вида переносной рулетки и у каждой рулетки по одному крупье в голубой ситцевой блузе. Эти крупье с актерскими складками у губ, с припадочными руками, с циничными прибаутками — русские инвалиды, либо не попавшие в артель, либо нашкодившие в артели; этим инвалидам рулетка сдана в аренду местной деткомиссией. Деткомиссия же поистине не унывает — она блестяще применяется к стилям националов: в гнилой Бухаре — картонные дворцы, в иссушенном Мерве — детская цыганская кочевая вертушка. На рулеточных столиках горками и столбиками возвышаются дехканские медяки, а промеж подмаргивающих крупье курсируют юркие черноватые

субъекты с массивными кольцами на волосатых пальцах.

Да, у старого певца Юсупа, Юсупа, знаменитого по всей пустыне, от колодца Девы до колодца Козы, есть резон завидовать деткомиссии! Может позавидовать ей и старый пройдоха дервиш Абубекир; но всего завистней взирать на ее успехи здешней кооперации. Кооперация на текинском базаре живет плохо, много хуже, чем могла бы; и не приходится даже долго рассуждать о причине ее плохого житья: ни на объективные условия, ни на трудности работы в национальных республиках эту причину не свалишь: она наглядно бросается в глаза при первом посещении текинского базара.

Во-первых, кооперативы вынесены за пределы рынка, на отлет, куда-то «налево, прямо, направо и опять налево», подальше от козлиц частной торговли. Приезжий из безлюдья дехжанин хочет потолкаться в самой гуще базара; он поест в харчевне, выпьет чаю в чай-чи, послушает рассказчика в башмачном вертепе, и глядишь, уже незаметно для себя обзавелся всем необходимым — от нового халата до куска мыла. Много после, идучи в развалку мимо кооператива, он почешет папаху, подсчитает по пальцам, сколько переплатил частнику и, покорно вздохнув, вручит свои дела Магомету...

Во-вторых, кооператив на восточном базаре — абстрактный и пышный универмаг. Он потрясает изобилием жестяной утвари и половых щеток. Он богат полуботинками на один номер, манной крупой и одеколоном «Четырех тузов». Нельзя сказать, чтобы там совсем не было предметов реального текинского обихода. Они есть — даже бязь и глиняные кувшины; но в нацменском конфузе они прячутся по темным и пыльным углам.

Кооперация на базарах Туркменистана загордилась. Что, если бы ей разделиться на мелкие отрасли, бить частника прямым ударом, протискиваться в базарную чащу, прочно и весело сидеть между лавченками, похожими на земляные очаги, завоевывать отдельные площадки, конкурировать с древней историей, вытеснять частника из африкан-

ских хворостяных гнезд? Побеждать конкурента на Востоке можно только тесным соседством. Делается же так (и не только здесь, а почти всюду на восточных окраинах): на отлете возводится храм с видом на базар, в храме протягиваются полки, к полкам приставляется постный и кислый человек. Человеку скучно. И если, тем не менее, местная кооперация крепнет и живет, это лишь доказательство того, что умей она приняться за дело, крепла бы в десятки раз быстрее. Текинский базар — просторное и светлое поле битвы.

С заходом солнца ярмарка кончается. Турист в колониальном шлеме бубнит и сетует, что на знаменитом текинском базаре не видать знаменитых текинских ковров: «Где, я спрашиваю вас, красота жизни? Где перекупщики? Где старики с четками? Ни одного ковра на руках!».

Очень хорошо, что турист сетует. Ковровщицы объединяются в артели. Ковры покупает из собственных рук кустарницы Кустпромсоюз. Его магазин — склад, чистый, темноватый, прохладный — не на базаре, а в самом городе. Стены и пол увешаны огромными строгими коврами. Женщины сидят на полу и судачат о «методах производства», сложив на коленях эти узловатые собственные, «первые» руки, из которых покупает советская власть. Рассказать — выйдет пресно, надо видеть: приходит древняя степная старуха; из бородавки на ее подбородке торчит пук седины. Она кладет на прилавок тючок и разворачивает, как ребенка, схематический рисунок — темный пурпур, сажу, слоновую кость...

М е р в

Иногда мы любим читать об этих маленьких городках Прованса или Лангедока, залитых солнцем, пропахших красным перцем, чесноком и корицей, полных парикмахеров и часовщиков, — этих южных городках на берегу Средиземного моря, Тарасконах из «Тартарена».

Здесь море заменяет пустыня. Зеленоватоголубая ранней весной, свинцовая осенью, бурная и бурная ветренным летом, она с рокотом, слышимым только вожакам караванов, катит свои

пески между Гератом и Хивой. На дне ее покоятся сокровища погибших царств, кости павших верблюдов качаются на ее волнах, и на гребнях ее волн растет редкая горько-соленая трава...

Когда флот верблюдов выходит в открытую пустыню, дети погонщиков глядят ему вслед, и базарные кони ржут разлуку. В полдень над пустыней дрожит розоватое марево, струи песка тихо звенят и мурлычат, мертвый зной пахнет солью и прахом доисторических рыб.

Утром и вечером, стоя на пригорке, можно видеть как пустыня лижет синие берега, можно услышать прилив и отлив пустыни...

На берегу стихии стоит маленький солнечный порт; в нем есть много темных таверн, которые называются здесь чай-чи и в которых старые моряки пустыни рассказывают небылицы о бурях и дальних берегах; главная улица занята часовщиками, парикмахерами и аптекой; над железной дорогой, пересекающей город, стоят бани «Фантазия», а на краю города, на зеленой косе, вдавшейся в песчаный океан, есть кафе с видом на бесконечность. В кафе висит грязная люлька с младенцем; на примусе в ведре кипятится молоко, и за ситцевой занавеской почесывается хозяин...

Город называется Новый Мерв. Он — торговый центр Туркмении. Его население — армяне, украинцы, евреи, грузины, афганцы и персы — часовщики, ювелиры, портные, виноторговцы, москательщики, парикмахеры и аптекаря. Туркмены здесь гости; они приезжают из аулов и живут на уличных помостах перед чай-чи.

Мерв — городок лавочников и кустарей. Целые улицы заняты огромными полукруглыми дверями торговых складов; золотым вечером половина складов глухо заколочена, на деревьях перед ними растут медовые стручки и рожки, и смуглые ребятишки лазают на деревья под присмотром черноволосых матерей, одетых в розовое и голубое.

Мерв — исторический городок. У него есть поразительная достопримечательность — маленький мост через запекшийся и пересохший Мургаб с четырьмя большими молочными фонарями

и кладбищенской железной оградкой — знаменитый мостик, чья постройка обошлась местному бюджету в стоимость небольшой электростанции! Это — лирический памятник нашей бесхозяйственности. За мостиком — городской сад, весь сухой от пыльного зноя, но тенистый и душистый. По всему городу глухо и нежно звенят колокола верблюжьих караванов, и все улицы носят имена писателей XIX века: Пушкинская, Гоголевская, Достоевская, Тургеневская, даже Аксаковская...

Мерв — экзотический городок. Уже вечереет. Клубится туман золотой пыли, в чай-чи варится плов, из раскрытых окон несутся южные баритоны граммофонов и баклажанный запах Прованса или Лангедока...

Искенджьябин

Ашхабад — столица Туркменской республики, ее административный центр. Об Ашхабаде можно почитать в словарях (см. Полторацк или Асхабад), в учебниках (пустыня) и в газетах («Листок РКИ»). Симметрично распланированный город — большой, тихий и простой — на белой от солнца мягкой земле; местами он вымощен, но под густым слоем горячей пыли этого не видно и не слышно. В Ашхабаде обычно товарищи, посланные писать о советской Туркмении, берут, чтобы не ехать самим в чортово пекло, статистические, географические, этнографические и портретские сведения, где и как обстоит туркменская экзотика. Случилось так, что для нас, наоборот, экзотика — Ашхабад. Здесь только отдых, потому что через неделю снова в дорогу.

В Ашхабаде, на перекрестках, пьют искенджьябин. В Коране об искенджьябине говорится так:

«И они будут пить влагу сладкую, но чистую, из источника, имя которому Искенджьябин...»

Прилагаю рецепт искенджьябина:

на три ведра воды

ведро уксусу и ведро сахару.

Вскипятить. Очистить крутым яичным белком.

Разлить по кувшинам средней величины.

На каждый кувшин средней величины:

три капли розового масла,
одно яблоко,
один лимон,
один красный перец,
один пучок мяты,
одно гранатовое зерно.

Разлить по графинам средней величины.

На графин средней величины:

одну каплю розового масла,
два яблока,
два лимона

и
один полный гранат, очищенный
от скорлупы.

Привезти лед с вершин Копет-Дага
или

достать на фабрике;
продавать по пяти копеек за стакан
с пожеланием счастья.

Выпив стакан искенджьябина, можно
ехать обратно «вглубь страны», в райо-
ны Кушки, Тахта-базара, Теджена, в
пески и оазисы, занесенные солнцем...

7. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

Новый хозяин в Белом Доме. — Америка и Гаагский Трибунал. — Сверхбанк и сверхчело-
веки с Уоллстрит. — Угробленные меньшинства. — Неотпразднованный юбилей. — Снова Китай

Новый хозяин в Белом Доме

В один и тот же день — 4 марта — в Женеве открылась сессия Совета Лиги Наций, а в Вашингтоне официально вступил в отправление своих обязанностей новый президент Северо-Американских Соединенных Штатов Герберт Гувер. И хотя последнее событие формально не имело международного характера, но почти вся европейская печать уделила ему, пожалуй, больше внимания, чем сессии Лиги Наций, несмотря на то, что последняя является официальным вершителем международной политики. Ибо ходом событий Америка становится узловым пунктом мировой политики. В Женеве заняты вопросом о привлечении САСШ к участию в Гаагском Международном Трибунале, в комиссии экспертов выдвигают проект мирового сверхбанка, преобладающая роль в котором должна принадлежать американскому финансовому капиталу, и даже в предвыборной борьбе в Англии перед избирателями стоит неотвязчивый вопрос о будущих англо-американских отношениях.

Немудрено при таких условиях, что президентское послание нового хозяина Белого Дома в Вашингтоне стало предметом исключительного внима-

ния европейской прессы. Послание это, однако, давало мало пищи для газетных комментариев. Как удачно выразился обозреватель бельгийской социалистической газеты «Peuple», это послание содержало в себе слова «слишком прекрасные, чтобы соответствовать действительности». «Соединенные Штаты, — заявил Гувер, — не преследуют целей ни территориальной, ни экономической экспансии». Если только слова имеют определенный смысл, то никак нельзя представить себе, чтобы Соединенные Штаты, под руководством Гувера, не вели бы политики экономической экспансии. Это не вяжется не только с общим направлением развития американского капитализма, но и со всей карьерой нового президента САСШ.

О новом президенте приходится судить поэтому не столько по его речам и посланиям, сколько по всей его прошлой деятельности. Ярый сторонник протекционистской политики, которую он проводил в качестве министра торговли в кабинете Кулиджа, он, разумеется, будет проводить ее и в роли президента. А протекционизм сам по себе определяет и все направление внешней политики Соединенных Штатов: затрудняя доступ в САСШ товарам из передовых капиталистических